

9. Lopuhina E. Samye znamenitye mecenaty Rossii. M.: Veche, 2003. 384 s.
10. Massovaja kul'tura / K. Z. Akopjan, A. V. Zaharov, S. Ja. Kargalickaja i dr. M.: Al'fa-M; INFRA-M, 2004. 304 s.
11. Mol' A. Sociodinamika kul'tury / Per. s fr. Izd. 3-e. M.: Izdatel'stvo LKI, 2008. 416 s.
12. Nekrasov N. A. Komu na Rusi zhit' horosho / Polnoe sobranie sochinenij i pisem v pjatnadcati tomah. T. 5. L.: Nauka, 1982. S. 5–235.
13. Pereslegin S. Togo, chto dostatochno dlja Gerodota, nedostatochno dlja Gerostrata // Lem S. Summa tehnologij. M.: ООО «Izdatel'stvo AST»; SPb: Terra Fantastica, 2002. S. 643–668.
14. Petrovskaja I. Gromkij piar «Tihogo dona» // Izvestija 17.11.06 (<http://www.izvestia.ru/petrovskaya/article3098496/>)
15. Ten V. Poslednee delo Pushkina. SPb.: Izdatel'stvo I. V. Kir'janova, 2009. 408 s.
16. Ter-Minasova S. G. Vojna i mir jazykov i kul'tur: Ucheb. posobie. M.: Slovo / Slovo, 2008. 344 s.
17. JEko U. Otkrytoe proizvedenie. SPb.: Akademicheskij proekt, 2004. 384 s.

A. Ю. Дорский

ЭСТЕТИКА ВЛАСТИ: О ЯЗЫКЕ ОПИСАНИЯ

Политическая власть описывается в категориях классической эстетики. Утверждается адекватность этих категорий природе власти. Достижение властью своего полного выражения показывается как переход от красивого к комическому.

Ключевые слова: власть, эстетика, красота, возвышенное, трагическое, комическое.

A. Dorskii

AESTHETICS OF POWER: ABOUT DESCRIPTION LANGUAGE

The political power is described in categories of a classical esthetics. Adequacy of these categories to the nature of power are confirmed. Achieving by the power its full expression is shown as a transition from beautiful to comic.

Keywords: power, aesthetics, beauty, sublime, tragic, comical.

Вряд ли возможно определить, кто и когда впервые сделал власть объектом своей рефлексии. Если вслед за Диогеном Лаэртским признать Фалеса первым философом, то уже у него мы обнаружим слова о власти: «Сильнее всего неизбежность, ибо она властвует всем» [11, с. 65], хотя в отношении политической власти Фалес был скорее практиком, чем теоретиком. Наши исследования [12; 13] показали, что в текстах «осевого времени» осуществление власти в социуме понимается прежде всего эстетически. В дальнейшем на протяжении столетий вплоть до конца XIX в. эстетические мотивы в философии власти ослабевают с тем, чтобы потом зазвучать с новой — много-

кратно умноженной — силой. Внимание мыслителей к эстетике власти привлек, пожалуй, Ницше, но некоторые политики к тому времени уже едва ли не отождествляли свое занятие с искусством. Так, Наполеон, давая наставления актеру Тальма, писал: «Вокруг меня обманутое честолюбие, пылкое соперничество, вокруг меня катастрофы, скорбь, скрытая в глубине сердца, горе, прорывающееся наружу. Конечно, все это трагедия, мой дворец полон трагедий, и я сам, конечно, наиболее трагическое лицо нашего времени. Что же, разве мы поднимаем руки кверху?» (цит. по: [28, с. 126]). Как эта реплика далека от Нерона, сожалевшего о погибающем актере и не желавшего при-

знать, что такова роль императора! Далека она и от шекспировского Гамлета, хотя и советовавшего актерам подражать естественному поведению, но твердо различавшего короля на сцене и короля в зале. Наполеон видит себя актером на мировой сцене без всяких метафор, в самом прямом смысле. Эстетизация политики приведет в XX в. к появлению принципиально новых явлений. Я. Плампер пишет: «Муссолини был романтическим богоподобным “художником-творцом”, переместившимся из сферы искусства на политическую арену. <...> Дуче как выразитель мужского начала на манер скульптора лепил из бесчувственных, загипнотизированных, женственных масс произведение искусства, этим актом насильственного творения, всегда сохранявшего сходство с насилием на полях сражений, превращая массы в современную, гармоничную, эстетически прекрасную нацию-тело» [24, с. 35].

Новая реальность политической эстетики потребовала новых методик и новых понятий для своего описания. Впрочем, в большинстве случаев исследователи предпочитают использовать старые слова, наполняя их новым содержанием, таковы «олицетворение» [16], «сценарии» [30], «ритуалы» [9], «стиль» [15], «центры и иерархии» [19], символы и т. д. Новизной — и то относительной: для русского языка — обладает, пожалуй, лишь слово «имидж», вводимое специально для описания нового явления. Считается, что в научный оборот оно вошло в середине XX в. [32]. Нам представляется, что политическая власть эстетична по своей природе, а не только в связи с тем, что ее реализация «здесь и сейчас» предполагает какую-то форму, то есть конкретный ритуал, сценарий и стиль. Причем эта эстетичность существовала всегда, но в XX в. по причинам, которые здесь не место обсуждать, смогла быть выражена наиболее полно. Если наше предположение верно, к описанию власти можно применить не только специально изобретенные категории политиче-

ской эстетики, но и наиболее традиционные категории эстетики как таковой: красота / безобразное, возвышенное / низменное, трагическое / комическое.

Если мы примем, что потребность человека в соразмерном ему мире обретает удовлетворение в красоте, то красота окажется домом власти. Властитель всегда должен пребывать в красоте. Его самые дорогие одежды и самое дорогое жилище — не достижение максимально возможного в данное время и в данном месте комфорта. Мы знаем, что властитель вынужден вести жизнь совсем некомфортную, подчиняясь ритуалам, которые, кажется, созданы специально для уничтожения самой мысли о бытовом удобстве. Эти дорогие вещи — и не просто предметы престижного потребления, служащие для социальной стратификации, о чем писал Т. Веблен еще в конце XIX в. [7]. Они — самое красивое, что только может быть, ведь в народном сознании именно изобилие является сущностью красоты. Молва, приписав Ивану Грозному ослепление Бармы и Посника, совершенно точно выразила идею исключительности красоты, окружающей монарха. Сам властитель должен быть красив, а подданные его красивы распространяющейся на них его властью. Можно довольно долго приводить примеры, как преображались в статных красавцев маленькие и толстые вожди, как помогали им в этом красные каблуки, трибуна Мавзолея и мастерство художников. Некоторые историки вполне серьезно полагают, что одной из причин нападения Наполеона на Россию была его ревность к фигуре — в самом буквальном, физическом смысле — Александра I. Те, кто жил в СССР в 80-е гг., помнят, какой ракурс обязательно должен был избрать фотограф, снимая М. С. Горбачева в 1984 г., и как этот ракурс потерял свою обязательность по мере демократизации советского строя. Помнят они и как изнуренный и похудевший во время «Фаросского заточения» Президент перестал быть Президентом. А на смену ему пришел иной: энергично

выкрикивающий что-то с танка. Чьи руки тоже долгое время можно было снимать только в определенном ракурсе. Все эти правила изображения прекрасно известны любому художнику и фотографу.

Предел противостояния власти как воплощенной красоте — уродливое. Как показал Э. Климов — впрочем, как чувствовали уже многие современники событий, — появление в царских покоях Г. Распутина означало агонию власти Николая II. Живучесть легенды о любовной связи Распутина и Александры продиктована не талантами авторов «дневника Вырубовой» и не политической востребованностью, а точным схватыванием: безобразное подменило собой власть в самом ее основании. Возможно, именно намерением изгнать неповинуящегося власти из мира в какой-то степени продиктован изуверский характер древних казней и наказаний. Обезображиваются те, кто посмел усомниться во власти данного субъекта. Но необязательно доходить до четвертования. «Характерно, что при разоблачении еретиков публично демонстрировалось, что еретики принадлежат к антимиру, к крошечному (адскому) миру, что они “ненастоящие”. Новгородский архиепископ Геннадий в 1490 г. приказал посадить еретиков на лошадей лицом к хвосту в вывороченном платье, в берестяных шлемах с мочальными хвостами, в венцах из сена и соломы, с надписями: “Се есть сатанино воинство”» [21, с. 16].

С другой стороны, сущностная непредсказуемость власти, ее заведомое несовпадение с самой собой, а уж тем более с обществом, в котором она властвует, лишают ее благого образа. Безобразное связано с властью всеми теми тонкими нитями, которыми связываются с красотой иные категории эстетики. Власть безобразна, однако не в том смысле, в котором безобразное противопоставлено красоте как парная категория (классическая традиция, получившая наиболее полное выражение в известном труде И. К. Ф. Розенкранца «Эстетика безобразно-

го» [33]), но в том, который раскрывает родство безобразного и возвышенного (традиция, хотя и неклассическая, то есть не восходящая к древнегреческой философии, но, вероятно, не менее древняя, отчетливо продуманная Э. Бёрком в «Философском исследовании о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» [6]). Любопытно, что И. Кант, давая свое описание динамически возвышенного, начал с рассуждений о природе как могуществе [17, с. 130].

Однако если возвышенное в природе предполагает преодоление «кажущегося всемогущества природы», и само по себе является лишь «подстановкой» природы на место наших собственных душевных сил, то в обществе все, очевидно, должно быть иначе. То самопреодоление, возвышение над природным явлением, а посредством этого — над собственной погруженностью в телесные практики, которое вслед за Кантом подробно описывает Ф. Шиллер, в обществе обычно не реализуется. Здесь возвышенный объект, точнее — субъект, возвышен вполне реально. Его «всевластие» не мнимо. Таким образом, возвышенное здесь существует в ощущении непреодолимой дистанции: возвышенности его — властителя и ничтожности меня — подданного. Если же принять точку зрения властвующего, то, вероятно, его «административный восторг» связан с тем, что гнев подданных на первый взгляд кажется грозной силой — подданных всегда больше. Но обнаружение того, что подвластные — всего лишь повод для самореализации, преодоление собственного страха перед их силой, а может, и страха убить или заставить страдать себе подобного, то есть обнаружение того, что они — не «мне подобные», а их множество — величина мнимая, позволяют властителю возвыситься над самим собой. «Нет такого народа, который я не мог бы посадить за решетку», — говорил кардинал Ришелье, и, возможно, именно эта вера в собственные силы позволила прожить долгую жизнь человеку, кото-

рому при рождении пророчили лишь пару недель. Здесь аналогия с переживанием возвышенного в природе достаточно полная.

Случается и иное исключение из обычного отношения «я — низменное, он — возвышенное» («Ведь я червяк в сравнении с ним!» /Беранже/). Это ситуация бунта, когда низменное претендует стать возвышенным. Вспомним манифестацию такого «переворачивания» категорий в одном из популярных современных мифов — «Матрице» братьев Вачовски. Их герои подчеркнута низменны в быту: имеется в виду только эстетика, но не этика низменного. Они живут внизу — в недрах земли, они одеваются в рубища. Все меняется, когда они попадают в Матрицу. Матрица претендует на возвышенность, во всяком случае, у нее есть монополия на вышний свет. Но мы знаем, что этот свет и вообще вся «возвышенность» Матрицы — иллюзия, потому что там нет живого субъекта. Настоящие субъекты, настоящие герои — те, кто вынуждены выглядеть как низменные, но стремятся ввысь «из глубины». Апофеоз «Матрицы-3» — прорыв Нео к настоящему Солнцу. Братья Вачовски в образах компьютерной реальности рассказали нам старую-старую сказку. Но сколько раз эта сказка становилась былью?! И если к смене власти, происходящей в результате «дворцовых» заговоров и интриг, мы всегда относимся как к отталкивающему явлению, то бунт низменного против возвышенного, в котором низменное претендует на роль подлинно возвышенного, способен на столетия приковать наши восхищенные взоры, даже если нам не понятна «политическая» составляющая этого бунта и чужда его этика. Ярким примером может служить восстание декабристов и параллельный ему заговор генералов. Последний интересен разве что кучке историков — специалистов по данному периоду. Великое выходит из подполья, а не из потайных комнат. Зато с какой одержимостью мы восстанавливаем традиционное отношение «возвышенное —

низменное», когда проходит зачарованность эстетикой бунта! Низвергнутый властитель вновь возвышается — вплоть до официальной канонизации.

Если продолжить рассмотрение власти в сетке основных традиционных эстетических категорий, то следует остановиться еще на трагическом и комическом.

Властители часто становились героями трагедий. Классика и классицизм, кажется, принимали за безусловное правило четкое разведение социальных статусов героев трагедий, комедий и сатир. Вспомним, что единственная дошедшая до нас древнегреческая сатира называется «Киклоп», хотя вполне могла бы (кажется на первый взгляд) именоваться «Одиссей». В этом можно увидеть и воплощенный тезис Аристотеля: «Такова же разница и между трагедией и комедией: одна стремится подражать худшим, другая — лучшим людям...» [3, с. 647]. А кто же и лучшие люди, как не цари? Их онтологическое царское качество нисколько не страдает от того, что их конкретный поступок, в том числе и тот, что становится предметом изображения в трагедии, далек от идеалов нравственности. То, что героями классических трагедий являются властители, может быть объяснено и очевидной связью между трагическим и красивым, это ведь комическое, «смешное есть [лишь] часть безобразного» [3, с. 650]. А может, и глубинной связью между трагическим и возвышенным, хотя последнее в античности еще и не присутствует. Зато есть важное, значительное: «Трагедия есть подражание действию важному...» [3, с. 651]. Отсюда один шаг до утверждения Буало о том, что трагедия является областью государственных интересов, но — пропасть до просвещенческих «домашней трагедии» Дидро и трагедии обыкновенных людей Лессинга [20, с. 44–45].

Нам представляется, что трагический конфликт всегда — конфликт власти героя и власти иной (судьбы, общества, собственных страстей и проч.). Неслучайно вели-

чайшая античная трагедия рассказывает о том, как осуществление царской власти ведет к ее потере («Эдип»), а величайшая постантичная — о том, как лишенный политической власти герой играет в кошки-мышки с властью метафизической («Гамлет»). Вообще, трагедия есть открытие субъекта [4; 26], что никак не может обойтись без осознания власти, хотя бы (и в первую очередь) власти над самим собой. Трагедия власти — в обнаружении ею ее границ, за которыми начинается власть иная. Два разных вида власти — те две односторонние силы, которые, по Гегелю, враждебно противостоят друг другу.

Ф. Дюрренмат в «Ромуле Великом» блестяще показывает, как тонка грань между трагическим и комическим во власти. Его герои — император Ромул и вождь Одоакр — в традициях классической трагедии мечтают осуществить власть над судьбой. Но трагического величия крах их планов лишен: масштаб результата несообразен с масштабом замысла. Один намеревался героически погибнуть на развалинах империи — и стал «почетным пенсионером». Другой задумывал империю упрочить, героически ей служа, — и стал королем Италии. Никакой победы свободы в царстве необходимости (Ф. Шеллинг) не случилось, «герои» оказались игрушками в руках смеющейся над ними судьбы.

По мнению С. В. Карагодиной, власть сущностным образом связана со смехом: «...звучание смеха зачастую связано с выяснением иерархических отношений, так же как и властвование. Насмешки и высмеивание часто представляют собой словесную завуалированную агрессию, символическое покушение на статус противника. Поэтому их можно назвать одним из средств выявления и демонстрации иерархии, символической власти» [18, с. 39]. В своей статье С. В. Карагодина констатирует, что во времена Козимо Медичи в традиционной смешливой Флоренции не находилось места разного рода шутам, которые вынуждены были искать

себе пристанище в других областях Италии. Автор высказывает любопытную гипотезу: «Шутовство — тип грубый и унижающий человеческое достоинство, видимо, не был органичным продолжением флорентийской человеческой ситуации. Граждане Флоренции, привыкшие на равных участвовать в управлении своим городом и строить свои отношения на паритетных началах, не могли себе позволить столь сильное и явное унижение соотечественника, которое характеризует шутовской “modus operandi”. Быть может, поэтому фигура шута чаще появляется при дворах деспотических правителей, которые могут демонстрировать столь явное проявление своей власти над подданными, которым только шут может отважиться донести правду о самих себе» [18, с. 44]. Предположение, что власть склонна к шутовству, кажется правдоподобным. Сама С. В. Карагодина показывает это на примере властвования Ивана Грозного. Хотя объяснение поведения царя с помощью противопоставления «огромного идеала» [18, с. 59] и не менее огромного антиидеала не может быть нами принято, изложение соответствующих фактов не вызывает сомнений. Для «смехового поведения» Ивана Васильевича важен «был контраст с его реальным положением неограниченного властителя. Притворяясь скромным и униженным, он тем самым издевался над своей жертвой» [21, с. 27]. При этом, как показывает Д. С. Лихачев при анализе текстов Грозного, «шутовская» шутка вовсе не обязательно должна быть грубой, связанной с «материально телесным низом». Иван IV так же непринужденно иронизирует в терминах церковных, как и бранится [25].

При всех различиях личностей первого русского царя и первого российского императора их отношение к смеховому во многом сходно. Оба вопреки традиции заставляли свой двор регулярно пьянствовать, оба обзавелись шутами, оба нашли себе «господина», а Петр, будучи «на троне вечным работником» (А. С. Пушкин), одновременно

подчинялся разному начальству — в зависимости от исполняемого в данный момент ремесла. Как известно, многих современников Петра поражал его «демократизм», что, казалось бы, противоречит гипотезе о связи шутовства и деспотизма. Однако те, кто был знаком с царем поближе, насчет его демократизма вовсе не заблуждались. «Мало того, что Петр служил, работал как плотник, он являлся еще и “подданным” шутовского “князя-кесаря” Ф. Ю. Ромодановского, которому писал доношения, челобитные, обращался к нему, как подданный к властителю. Сразу же отметим, что Ромодановский и другие воспринимали это однозначно, как игру, и письма-просьбы Петра понимали как царские указы, подлежащие обязательному исполнению» [2, с. 34]. Если Ивану Васильевичу в этих играх был очень важен такой характерный для власти момент, как издевательство, то для Петра Алексеевича он, судя по всему, не имел такого психологического значения. Тем не менее и Петр использовал игровую смену ролей именно с целью укрепления своей власти. Секретарь прусского посольства И. Фоккерд писал, что царь «не имеет никакого преимущества перед другими, а подобно своим товарищам с ружья, даже с барабана и будет выслуживаться постепенно: для этой цели он в таком случае слагал самодержавную власть в руки князя Ромодановского, который должен повышать его в чины наравне с другими солдатами по его заслугам и без малейшего потворства. Так, пока жив был вышешепмянутый князь, именно до 1718 года, Петр разыгрывал такую комедию, что получил от него повышение в генералы и адмиралы, которые должности ему угодно было возложить на себя. Это объявление имело то действие, что дворяне из самых знатных фамилий, хотя и не покидая и предразсудка о достоинстве своего происхождения... однакож оставались с ним на службе и стыдились заявлять такие притязания, которые могли бы показать, будто они думают быть лучше государя (курсив всюду наш. —

А. Д.)» (цит. по: [2, с. 35]). Кстати, дослужиться «с ружья» до адмирала при Петре Алексеевиче, кажется, удалось только ему самому, и в этом — тоже очевидная насмешка над обязательной для всех — но не для царя — иерархией.

Тем более для укрепления личной власти Петра служили иные используемые им приемы комического. По наблюдениям современников, сам Петр на попойках пил, зная меру. Зато подданных своих он заставлял напиваться до потери памяти. Когда монарх веселился таким образом, он зорко наблюдал за теми, у кого на языке уже было то, что на уме. И делал выводы. Нам близка точка зрения, согласно которой «Всешутейший, Всепьянейший и Сумасброднейший собор» был создан для ослабления власти Церкви в пользу усиления личной власти монарха, и синодальная реформа, подчинившая Церковь государю, была подготовлена деятельностью этого «собора» (см., напр.: [14]*).

Полагаем, что не «европеизация» и даже не секуляризация как таковая, а именно укрепление личной власти было целью вообще всей, по выражению А. М. Панченко, петровской «реформы веселья» [22; 23]. Вопреки Панченко нам представляется, что эта «реформа» не имеет никакого отношения к «реабилитации смеха», если под реабилитацией понимать восстановление в правах того, что было раньше. Петр смеется совсем не по-народному, относясь к народу, к его верованиям и традициям также пренебрежительно, как и к церковным канонам и ритуалам. Примеров того, как Петр Алексеевич с большим удовольствием рушил традиции, предостаточно. В смеховой сфере это проявлялась, в частности, в обрядах всешутейшего «славления». В отличие от народных масленичных обрядов всешутейшие славления были строго обязательны для назначенных для участия «славящих» и для принимающих их хозяев. Для последних Петр даже издал специальный указ — Впрочем, от имени «всешутейшего князя-

папы», — предписывающий, как и чем кормить непрошенных гостей. Издевательством над участниками смехового действия был и обряд свадьбы учителя Петра Н. М. Зотова, по всешутейшей иерархии, кстати, стоявшего выше царя, 70-летнего старца, намеревавшегося уйти в монастырь, а ставшего женатым «патриархом».

Размышляя о «Всешутейшем соборе», Л. А. Трахтенберг открывает в связи власти и комического более, чем элемент насмешки. Деспот не просто использует смех для того, чтобы унижить другого, в данном случае — Церковь. «Можно предполагать, что таким образом Всешутейший собор служил укреплению самодержавной власти: она распространялась и на сферу “отдыха” и “забавы”, и даже эта сфера общественной жизни была регламентирована и подчинена Петру I точно так же, как и любая другая. Такая гипотеза подтверждается и иными фактами, помимо истории Всешутейшего собора: например, известна регламентация Петром I ассамблей — другой формы развлечения...» [29].

Можно вспомнить и известные остроты Николая I, и примеры более близких нам времен. Так, во время страшных пожаров в России летом 2010 г. в одном из блогов появилась запись с резкой критикой действий правительства. В частности, автор утверждал, что раньше в его деревне был специальный колокол (названный им рындой) для оповещения жителей о пожаре. Колокол давно сняли, заменив на телефон, вот только телефон так и не был подключен. Каждая фраза блогера была обильно снабжена матерными выражениями. Благодаря главному редактору радио «Эхо Москвы» А. Венедиктову с текстом блога ознакомился председатель Правительства В. Путин. Его ответ — вообще ироничный — содержал чрезвычайно характерную шутку: «И Вы, безусловно, одаренный литератор. Если бы зарабатывали писательским трудом, могли бы жить, как и любимый писатель В. И. Ленин — А. М. Горький — на Капри» [8].

Итак, исследователи говорят о том, что комическое присуще власти, во-первых, как насмешка, утверждающая социальный статус властителя и подданного. Властитель может смеяться над подданным, подданный над властителем — нет. Ситуация насмешки подданного над властителем — это, в сущности, смех подданного над самим собой: насколько же я должен быть смешон, если настолько смешон тот, кого признаю своим господином? Ситуация, которая очень поразному истолковывалась как теоретиками, так и практиками комического: и как подрывающая устои власти, и как их укрепляющая. Преследуется насмехание над властью с помощью цензуры или полиции, или провоцируется самими властями — так, например, памфлеты о кардинале Мазарини создавались по его приказу, — но такая насмешка всегда ограничена во времени и пространстве. А вот насмешка властвующего над подданным может случиться всегда и в любом месте.

Во-вторых, власть стремится присвоить комическое, потому что комическое — это традиционно сфера отдыха и, казалось бы, к политической власти не имеет никакого отношения. Правитель, полагающий, что его задача — организовывать людей для достижения какой-то цели, оставляет сферу комического за рамками своего влияния. Но властитель так поступать не станет, потому что его задача — тотальное подчинение подданного. При властителе подданному не предоставляется возможность время от времени смеяться по собственному желанию, напротив, подданному навязывается необходимость смеяться по воле властителя и против собственного желания. В современном мире интересно наблюдать, как пересекаются менеджмент и власть в процессе создания корпоративных праздников.

Для понимания глубинной связи власти и комического следует исходить из анализа их природ. Мы согласны с определением А. Г. Козинцева: «Юмор есть игра в нарушение интериоризованных норм» [27, с. 16]**. Дума-

ется, что слово «юмор» в данном случае можно заменить на «комическое» вообще. Но власть и занимается этой игрой. Она демонстрирует, что не подчиняется ни нормам прежних времен и господ, ни даже собственным нормам. Тезис Ницше о «смеющемся обещать» откликается в современной российской мудрости о хозяине своего слова: «сам дал, сам взял». Нарушение норм объясняет и амбивалентность комического: одно и то же воспринимается разными субъектами (которые могут быть в одном человеке) как смешное и как святотатство. Отличие игр власти от большинства других игровых ситуаций в том, что здесь происходит игра в том числе и с собственными границами игры. То, что, по Хейзинге, является условием^{***}, становится предметом игры.

Но таким образом преодолевается и трагизм власти, ведь, как мы писали выше, суть этого трагизма — обнаружение границ власти. Иван Грозный трагичен, когда кается, но его шутовство есть способ выйти за пределы трагедии, положить себе границу — «опричь» — и нарушить ее. «Затеянная Грозным опричина имела игровой, скомошоший характер. Опричина организовывалась как своего рода антимонастырь, с монашескими одеждами опричников как антиодеждами, с пьянством как антипостом, со смеховым богослужением, со смеховым чтением самим Грозным отцов церкви о воздержании и посте во время трапез-оргий, со смеховыми разговорами о законе и законности во время пыток и т. д.» [21, с. 48]. Правда, комическое здесь уже окончательно очищается от смеха, и «смеховое» вовсе не значит «смешное». В своем комизме власть ужасна.

Итак, на материале как художественной, так и исторической реальности мы убеждаемся в том, что классические категории эстетики адекватно работают при описании власти. Сам по себе этот результат не представляется удивительным, поскольку политическая власть мыслится нами как образ общества, в котором она существует. Поэтому, во-первых, категориальный аппарат, разработанный для описания образа вообще, должен быть применим и в этом случае, и, во-вторых, многогранное общество должно находить во власти отражение всех своих граней. Пожалуй, более любопытно то, что власть в результате такого описания предстает как процесс перехода от красоты к комическому, причем представляется, что этот эффект вызван не случайным перебором категорий в данной статье, а собственной логикой осуществления власти. «Насилие, власть, авторитет никогда не говорят на языке смеха», — писал М. М. Бахтин [5, с. 104]. Вслед за рядом исследователей, прежде всего С. С. Аверинцевым, показавшим «карнавальный» характер итальянского фашизма, мы склонны принципиально не согласиться с Бахтиным. Вспомним, что тот самый безнадежно, по Бахтину, серьезный тоталитаризм личной власти Сталина, когда писался «Франсуа Рабле»^{****}, был конституирован игровой самоиронией вождя: «Послушайте, Вучетич, а вам не надоел вот этот, с усами?» [1, с. 201].

Вместе с тем мы далеки от мысли, что применение основных эстетических категорий к политической власти позволяет ее описать вполне. Настоящая статья представляет собой лишь попытку выстроить фундамент категориального аппарата эстетики власти.

ПРИМЕЧАНИЯ

* Ср. противоположное мнение Д. С. Лихачева, В. П. Даркевича [10].

** При этом нам представляется совершенно фантастическим объяснение смеха А. Г. Козинцевым, при котором оказывается, что уже у обезьян в этом явлении «форма диаметрально противоположна содержанию» [20, с. 22].

*** Игра есть «свободная деятельность, которая осознается как “невзаправду” и вне повседневной жизни выполняемое занятие, однако она может целиком овладевать играющим, не преследует при этом

никакого прямого материального интереса..., совершается внутри намеренно ограниченного пространства и времени, протекает упорядоченно, по определенным правилам и вызывает к жизни общественные группировки, предпочитающие окружать себя тайной либо подчеркивающие свое отличие от прочего мира возможной маскировкой» [31, с. 24].

Диссертация была представлена М. М. Бахтиным к защите в 1945 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аллилуев В. Ф. Хроника одной семьи: Аллилуевы, Сталин. М.: Молодая гвардия, 1995. 319 с.
2. Анисимов Е. В. Время петровских реформ. Л.: Лениздат, 1989. 496 с.
3. Аристотель. Поэтика // Сочинения: В 4 т. Т. 4. С. 645–680.
4. Ахутин А. В. Тяжба о бытии: Сборник философских работ. М.: Русское феноменологическое общество, 1997. (Библиотека журнала «Логос».) 303 с.
5. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1990. 2-е изд. 543 с.
6. Берк Э. Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного / Пер. с англ. М.: Искусство, 1979. (История эстетики в памятниках и документах.) 237 с.
7. Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. (Экономическая мысль Запада.) 367 с.
8. Владимир Путин: Ответ // <http://www.echo.msk.ru/doc/700728-echo.html> (Дата обращения: 09.08.2010).
9. Вульф К. К генезису социального. Мимезис, перформативность, ритуал / Пер. с нем. Г. Хайдаровой. СПб.: Интерсоцис, 2009. 164 с.
10. Даркевич В. П. Народная культура Средневековья: Пародия в литературе и искусстве IX–XVI вв. М.: ИТИ Технологии, 2004. 327 с.
11. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Пер. М. Л. Гаспарова. 2-е изд. М.: Мысль, 1986. (Философское наследие.) 571 с.
12. Дорский А. Ю. «Руководя, не считать себя властелином»: к эстетике правления в культуре Китая // Научные проблемы гуманитарных исследований. Вып. 2. Пятигорск, 2010. С. 303–312.
13. Дорский А. Ю. Эстетика власти: философско-антропологические основания // Известия РГПУ им. А. И. Герцена: Общественные и гуманитарные науки (философия): Научный журнал. СПб., 2005. № 5(10). С. 340–350.
14. Живов В. М. Разыскания в области истории и предьстории русской культуры. М.: Языки славянской культуры (Кошелев), 2002. (Язык. Семиотика. Культура.) 758 с.
15. Зарубин В. Г. Стиль — мера эстетического в политике // Герценовские чтения. 2000. Актуальные проблемы политологии и социологии. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. С. 21–24.
16. Ильин И. А. О монархии и республике. Нью-Йорк: Содружество, 1979. 329 с.
17. Кант И. Критика способности суждения / Пер. с нем. М.: Искусство, 1994. (История эстетики в памятниках и документах.) 367 с.
18. Карагодина С. В. Козимо Медичи и Иван Грозный: природа смеха и природа власти // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2005. № 1(19). С. 39–62.
19. Каспэ С. И. Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная политическая форма. М.: Московская школа политических исследований, 2007. 320 с.
20. Лазарева М. А. Критерии трагического в теоретической системе мышления // Вестник Московского университета. Филология. 1995. № 2. С. 42–54.
21. Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поньрко Н. В. Смех в древней Руси. Л.: Наука, 1984. 295 с.
22. Панченко А. М. О русской истории и культуре. СПб.: Азбука, 2000. 463 с.
23. Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. Л.: Наука, 1984. 208 с.
24. Плампер Я. Алхимия власти. Культ Сталина в изобразительном искусстве / Авториз. пер. с англ. Н. Эдельмана. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 496 с. (Очерки визуальности.)
25. Послания Ивана Грозного / Подгот. текста Д. С. Лихачева и Я. С. Лурье / Пер. и коммент. Я. С. Лурье / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. СПб.: Наука, 2005. 715 с.
26. Румянцев О. Конец трагического сознания // Катарсис: метаморфозы трагического сознания / Сост. и общ. ред. В. П. Шестакова. СПб.: Алетейя, 2007. С. 102–134 с.

27. Смех: истоки и функции: Сб. ст. / Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) / Под ред. А. Г. Козинцева. СПб.: Наука, 2002. 223 с.
28. *Тарле Е. В.* Наполеон. М.: Наука, 1991. 464 с.
29. *Трахтенберг Л. А.* Сумасброднейший, Всешутейший и Всепьянейший собор // Одиссей: Человек в истории. М.: Наука, 2005. С. 89–118.
30. *Уортман Р. С.* Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии / Авториз. пер. С. В. Житомирской. М.: О.Г.И., 2002. 607 с.
31. *Хейзинга Й.* Homo ludens. В тени завтрашнего дня / Пер. с нидерл. М.: Издательская группа «Прогресс»; «Прогресс-Академия», 1992. 464 с.
32. *Boulding K. E.* The Image: Knowledge in Life and Society. [Ann Arbor], The University of Michigan, 1961. 175 p.
33. *Rosenkranz J. K. F.* Ästhetik des Häßlichen. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1989. 463 s.

REFERENCES

1. *Alliluev V. F.* Hronika odnoj sem'i: Alliluevy, Stalin. М.: Molodaja gvardija, 1995. 319 s.
2. *Anisimov E. V.* Vremja petrovskih reform. L.: Lenizdat, 1989. 496 s.
3. *Aristotel'.* Pojetika // Sochinenija: V 4 t. T. 4. S. 645–680.
4. *Ahutin A. V.* Tjazhba o bytii: sbornik filosofskih rabot. М.: Russkoe fenomenologicheskoe obshchestvo, 1997. (Biblioteka zhurnala «Logos»). 303 s.
5. *Bahtin M. M.* Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaja kul'tura srednevekov'ja i Rennessansa. М.: Hudozhestvennaja literatura, 1990. 2-e izd. 543 s.
6. *Berk Je.* Filosofskoe issledovanie o proishozhdenii nashih idej vozvysshennogo i prekrasnogo / Per. s angl. М.: Iskusstvo, 1979. (Istorija jestetiki v pamjatnikah i dokumentah). 237 s.
7. *Veblen T.* Teorija prazdnogo klassa. М.: Progress, 1984. (JEkonomicheskaja mysl' Zapada). 367 s.
8. *Vladimir Putin:* Otvet // <http://www.echo.msk.ru/doc/700728-echo.html> (Data obrashchenija: 09.08.2010).
9. *Vul'f K.* K genezisu social'nogo. Mimezis, performativnost', ritual / Per. s nem. G. Hajdarovoj. SPb.: Intersocis, 2009. 164 s.
10. *Darkevich V. P.* Narodnaja kul'tura Srednevekov'ja: Parodija v literature i iskusstve IX–XVI vv. М.: ITI Tehnologii, 2004. 327 s.
11. *Diogen Lajertskij.* O zhizni, uchenijah i izrechenijah znamenityh filosofov / Per. M. L. Gasparova. 2-e izd. М.: Mysl', 1986. (Filosofskoe nasledie). 571 s.
12. *Dorskij A. Ju.* «Rukovodja, ne schitat' sebja vlastelinom»: k estetike pravlenija v kul'ture Kitaja // Nauchnye problemy gumanitarnyh issledovanij. Vyp. 2. Pjatigorsk, 2010. S. 303–312.
13. *Dorskij A. Ju.* JEстетика власти: filosofsko-antropologicheskie osnovanija // Izvestija RGPU im. A. I. Gercena: Obshchestvennye i gumanitarnye nauki (filosofija): Nauchnyj zhurnal. SPb., 2005. № 5(10). S. 340–350.
14. *Zhivov V. M.* Razyskanija v oblasti istorii i predystorii russkoj kul'tury. М.: Jazyki slavjan. kul'tury (Koshelev), 2002. (Jazyk. Semiotika. Kul'tura). 758 s.
15. *Zarubin V. G.* Stil' — mera esteticheskogo v politike // Gercenovskie chtenija. 2000. Aktual'nye problemy politologii i sociologii. SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gercena, 2000. S. 21–24.
16. *Il'in I. A.* O monarhii i respublike. N'ju-Jork: Sodruzhestvo, 1979. 329 s.
17. *Kant I.* Kritika sposobnosti suzhdenija / Per. s nem. М.: Iskusstvo, 1994. (Istorija jestetiki v pamjatnikah i dokumentah). 367 s.
18. *Karagodina S. V.* Kozimo Medichi i Ivan Groznyj: priroda smeha i priroda vlasti // Drevnjaja Rus'. Voprosy medievistiki. 2005. № 1(19). S. 39–62.
19. *Kaspje S. I.* Centry i ierarhii: prostranstvennye metafory vlasti i zapadnaja politicheskaja forma. М.: Moskovskaja shkola politicheskikh issledovanij, 2007. 320 s.
20. *Lazareva M. A.* Kriterii tragicheskogo v teoreticheskoi sisteme myshlenija // Vestnik Moskovskogo universiteta. Filologija. 1995. № 2. S. 42–54.
21. *Lihachev D. S., Panchenko A. M., Ponyrko N. V.* Smeh v drevnej Rusi. L.: Nauka, 1984. 295 s.
22. *Panchenko A. M.* O russkoj istorii i kul'ture. SPb.: Azbuka, 2000. 463 s.

23. *Panchenko A. M.* Russkaja kul'tura v kanun petrovskih reform. L.: Nauka, 1984. 208 s.
24. *Plamper Ja.* Alhimija vlasti. Kul't Stalina v izobrazitel'nom iskusstve / Avtoriz. per. s angl. N. Edel'mana. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2010. (Očerki vizual'nosti). 496 s.
25. Poslanija Ivana Groznogo / Podgot. teksta D. S. Lihacheva i Ja. S. Lur'e / Per. i komment. Ja. S. Lur'e/ Pod red. V. P. Adrianovoj-Peretc. SPb.: Nauka, 2005. 715 s.
26. *Rumjancev O.* Konec tragicheskogo soznaniya // Katarsis: metamorfozy tragicheskogo soznaniya / Sost. i obshch. red. V. P. Shestakova. SPb.: Aletejja, 2007. S. 102–134 s.
27. Smeh: istoki i funkcii: Sb. st. / Ros. akad. nauk, Muzej antropologii i jetnografii im. Petra Velikogo (Kunstkamera); Pod red. A. G. Kozinceva. SPb.: Nauka, 2002. 223 s.
28. *Tarle E. V.* Napoleon. M.: Nauka, 1991. 464 s.
29. *Trahtenberg L. A.* Sumasbrodnejshij, Vseshutejshij i Vsep'janejshij sobor // Odissej: Chelovek v istorii. M.: Nauka, 2005. S. 89–118.
30. *Uortman R. S.* Scenarii vlasti: Mify i ceremonii russoj monarhii / Avtoriz. per. S. V. Zhitomirskoj. M., O.G.I., 2002. 607 s.
31. *Hejzinga J.* Homo ludens. V teni zavtrashnego dnja / Per. s niderl. M.: Izdatel'skaja gruppa «Progress»; «Progress-Akademija», 1992. 464 s.
32. *Boulding K. E.* The Image: Knowledge in Life and Society. [Ann Arbor], The University of Michigan, 1961. 175 p.
33. *Rosenkranz J. K. F.* Ästhetik des Häßlichen. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1989. 463 s.